

Политическая лингвистика. 2022. № 2 (92).
Political Linguistics. 2022. No 2 (92).

УДК 81'42:821.161.1-31(Дорошевич В. М.)
ББК ШЗЗ(2Рос=Рус)6-8,44+ШЗ00.1

ГСНТИ 16.21.33

Код ВАК 10.02.19 (5.9.8)

Александр Васильевич Кубасов

Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия, kubas2002@mail.ru,
https://orcid.org/0000-0001-9074-1133

Речевой портрет доктора как реализация каторжного дискурса в книге В. М. Дорошевича «Сахалин»

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования речевого портрета доктора в книге В. М. Дорошевича «Сахалин». Каторжный дискурс выступает в книге как один из вариантов дискурса политического, который обычно контролируется властью. Дорошевич показывает два разных мира на Сахалине конца XIX века: с одной стороны, мир каторжан и поселенцев, а с другой — противостоящий им мир администрации тюрем и острова. Доктор же занимает промежуточное положение между ними. Одни из докторов тяготеют к миру административному, они видят в каторжанах прежде всего преступников. Другие доктора видят перед собой прежде всего человека, которому требуется медицинская помощь — такие личности вызывают симпатию автора. Речевые портреты понимаются в рамках избранной проблематики как индивидуальные речевые манеры, которые являются одной из реализаций единого каторжного дискурса, обусловленного временем, местом и социокультурными факторами. Доктор показан в трех основных коммуникативных ситуациях: с арестантами или поселенцами, с представителями тюремной власти и третий вариант — с нейтральным нарратором. Автор стремится к лапидарности, поэтому обычно выбирает какую-то одну ситуацию, которая позволяет с помощью минимума средств создавать речевой портрет доктора. Речевые портреты докторов в книге Дорошевича являются документом эпохи рубежа веков и позволяют воссоздать образ одной социально-профессиональной группы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каторжный дискурс, речевой портрет, образ доктора, русские писатели, литературное творчество, литературные жанры, литературные образы, литературные сюжеты.

БЛАГОДАРНОСТИ: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект «Русские писатели и медицина: биографические и литературные „пересечения“ (1820—2020)» (№ 21-18-00481, ИРЛИ РАН).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Кубасов Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, Институт специального образования, Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, к. 118; e-mail: kubas2002@mail.ru.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кубасов, А. В. Речевой портрет доктора как реализация каторжного дискурса в книге В. М. Дорошевича «Сахалин» / А. В. Кубасов. — Текст : непосредственный // Политическая лингвистика. — 2022. — № 2 (92). — С. 183-190.

Aleksandr V. Kubasov

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia, kubas2002@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9074-1133

Speech Portrait of a Doctor as a Realization of Penal Servitude Discourse in the Book by V. M. Doroshevich “Sakhalin”

ABSTRACT. The article presents the results of a study of a doctor's speech portrait in the book “Sakhalin” by V. M. Doroshevich. Penal servitude discourse functions in the book as one of the variants of political discourse, which is usually controlled by the authorities. Doroshevich shows two different worlds on Sakhalin at the end of the 19th century: the world of convicts and settlers on the one hand, and the world of prison administration and the island authorities that opposes them, on the other. A doctor occupies an intermediate position between them. Some of the doctors tend towards the administrative world; they see prisoners primarily as criminals. Other doctors treat the patient in front of them first of all as a person who needs medical help. Such medical personalities arouse the sympathy of the author. This study regards speech portraits within the framework of the chosen problem as individual speech manners, which serve as a realization of the common penal servitude discourse, formed by time, place and sociocultural factors. The doctor is shown in three main communicative situations: with prisoners or settlers, with representatives of the prison administration, and – the third option, – with the narrator. The author strives for lapidarity, so he usually chooses one situation that allows him to create the speech portrait of a doctor using as few expressive means as possible. The speech portraits of doctors in Doroshevich's book constitute a document of the turn of the century and make it possible to recreate the image of one socio-professional group.

KEYWORDS: penal servitude discourse, speech portrait, image of a doctor, Russian writers, literary creative activity, literary genres, literary images, literary plots.

ACKNOWLEDGMENTS: research is accomplished with financial support of the Russian Science Foundation, project “Russian Writers and Medicine: Biographical and Literary “Intersections” (1820 — 2020)” (No. 21-18-00481, IRLI RAS).

AUTHOR'S INFORMATION: *Kubasov Aleksandr Vasil'evich, Doctor of Philology, Professor, Head of Department of Theory and Methods of Teaching Persons with Disabilities, Institute of Special Education, Ural State Pedagogical University; Ekaterinburg, Russia.*

FOR CITATION: *Kubasov A. V. (2022). Speech Portrait of a Doctor as a Realization of Penal Servitude Discourse in the Book by V. M. Doroshevich "Sakhalin". In Political Linguistics. No 2 (92), pp. 183-190. (In Russ.).*

Влас (Власий) Михайлович Дорошевич (1865—1922) является одним из самых известных российских публицистов рубежа XIX—XX веков. Он автор крупного труда, посвященного сахалинской каторге. Хотя его публикации по Сахалину и не получили той известности, что книга Чехова, но все же, читая Дорошевича, можно открыть те стороны сахалинской каторжной действительности, которые остались в стороне у его великого предшественника. Книги Дорошевича и Чехова, посвященные сахалинской каторге, не противоречат друг другу, а вступают в отношения взаимного дополнения и уточнения.

В январе 1890 г., когда Чехов еще только хлопотал о своей поездке на Сахалин, направляя официальные письма в соответствующие инстанции, в газете «Новости дня» появилась заметка Дорошевича о предстоящем путешествии писателя: «Талантливый А. П. Чехов предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников. Прием совершенно новый у нас и обыкновенный за границей. Заграничные писатели — французские в особенности — народ живой и подвижный... Русский пишущий человек, наоборот, отличается полнейшей неподвижностью. В сравнении с живым французом он талантливый истукан. Круг его наблюдений очень ограничен... А. П. Чехов является, следовательно, во всех отношениях исключением. Во всяком случае, это первый из русских писателей, который едет в Сибирь и обратно» [Цит. по: Литературный путеводитель 2016]. «Остров Сахалин» был завершен Чеховым в 1893 г., и нет сомнения в том, что Дорошевич был знаком с этим произведением. Отправляясь на каторжный остров через семь лет после Чехова, Дорошевич так или иначе должен был проецировать свою работу на опыт предшественника.

Влас Михайлович отправился на Сахалин путем, который Чехов проделал, возвращаясь с него: 20 февраля 1897 г. репортер вышел из Одессы на пароходе Добровольного флота «Ярославль» и 16 апреля того же года прибыл на Сахалин. Второй раз Дорошевич окажется на Сахалине в 1902 г., но это была уже не целенаправленная поездка на остров. В том путешествии писателю важны были прежде всего Китай, Япония, Индия. Итогом поездок стала книга «Саха-

лин (Каторга)», изданная в 1903 г., а затем переизданная с дополнениями и изменениями в 1905 и 1907 гг.

В 1903 г. Дорошевич издал брошюру «Как я попал на Сахалин». Она характеризуется автором как «затянувшееся предисловие» к основной книге «Сахалин». Потом это предисловие в слегка переработанном виде почти полностью войдет в изданную позже книгу. Это позволяет нам не дифференцировать два источника, а объединять их в единое целое. В брошюре описана почти полудетективная история попадания писателя на каторжный остров. Сравнение брошюры с книгой позволяет сделать вывод о том, что какие-то фрагменты, которые были первоначально включены в брошюру, затем не попали в книгу. Возможных причин две: первая связана с цензурой, а вторая с авторской волей и логикой повествования в книге «Сахалин». В задачу статьи не входит изучение преемственности между этими источниками, они используются как взаимно дополняющие друг друга.

Читая книгу Дорошевича, нужно помнить о том, что по складу таланта и по профессиональному статусу Влас Михайлович был прежде всего журналистом и газетчиком, ориентировавшимся на массового читателя. Поэтому и книга его написана с оглядкой на каноны и традиции массовой литературы. Такая беллетристика работает зачастую на контрастах, бинарных оппозициях, которые не имплицитуются, а открыто декларируются. В полной мере это относится к «Сахалину» Дорошевича, который в начале книги использует концептуальные миромоделирующие метафоры. Описание острова сразу настраивает читателя на мрачный лад: «Первое впечатление было безотрадное, тяжелое, гнетущее. Словно *какое-то чудовище, с покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и ожидает добычи*» [Дорошевич 1903: 3]. Острову-чудовищу противопоставлен другой образ. Ссылка каторжных на Сахалин была для государства достаточно дорогим делом: ведь кораблю, выходящему из Черного моря или Балтийского, приходилось или огибать всю Северную Европу и Африку, или же идти Суэцким каналом, который был открыт в 1869 г. Дорошевич провёл на Сахалине три с половиной месяца. Он вышел на пароходе из Одессы, то есть по относительно короткому пути. Азиатские

страны представлялись ему райским местом на фоне Сахалина, заснеженного еще в апреле: «Провести людей чуть не кругом света. Показать им мельком *уголок земного рая* — пышный цветущий Цейлон, дать „взглянуть одним глазом“ на Сингапур, этот дивный, этот сказочный сад, что разросся в полутора градусах от экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японии, при входе в Нагасаки, — на берега, от которых глаз не оторвёшь, — для того, чтоб привезти после всего этого к скалистым, суровым берегам, покрытым снегами в середине апреля, в эту страну пурги, штормов, туманов, льдин, вьюг, — и сказать:

— Живите!»

Голос нарратора поддерживается общим мнением, в котором Сахалин символически тоже концептуализируется, но уже с помощью присловий, близких к пословицам: «Кругом — вода, а в середине — беда! Кругом — море, а в середине — горе!». Остров-беда, остров-горе — такова народная оценка Сахалина. Итог метафорических зачинов выражен нарратором предельно кратко: «Остров-тюрьма» [Дорошевич 1903: 3—4].

Массовой литературе зачастую свойственна текстуальная избыточность. Не избегает ее и Дорошевич: раз найденный метафорический образ развертывается и варьируется, сдвигая документальное повествование в сторону художественного. Так, глядя на карту региона, повествователь и конфигурацию острова соотносит с чудовищем: «Если вы взглянете на карту Азии, то увидите в правом уголке вытянувшееся вдоль берега, действительно, *что-то похожее на чудовище*, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащий напротив Мацмай (Хоккайдо. — А. К.)».

Дорошевич попал на остров без разрешения властей. Он по-настоящему рисковал тем, что его трехмесячное плавание на пароходе по дороге на Сахалин могло потерпеть фиаско. Однако судьба публициста была благосклонна к нему, и власть в лице генерал-губернатора Приамурского края разрешила ему пребывание на острове.

Разбирать художественные достоинства или недостатки книги Дорошевича представляется делом по крайней мере второстепенным. Его произведение можно охарактеризовать как «нравоописательное», построенное на сочетании самых различных дискурсов. Если сравнить книгу Дорошевича с книгой Чехова, то у нее, безусловно, отыщутся свои достоинства и недостатки. Дорошевич обладал незаурядной слуховой памятью, поэтому его книга наполнена множеством речей каторжников. Причем Дорошевич пы-

тался создать не просто перечень преступников, но как-то упорядочить их образы, типологизировать. Каторга для него, как позже для Шаламова и Солженицына, — это весь русский мир в миниатюре, изолированный островом, мир наказания и страдания.

Если бегло пролистать книгу Дорошевича, то легко заметить, что в ней огромное количество диалогов нарратора с разными обитателями острова. Автор «Сахалина» создает на страницах своего произведения многоголосый разноречивый хор голосов своих современников. Это люди разных возрастов, состояний, статусов и характеров. Вторая особенность книги Дорошевича — наличие фотографий каторжан и поселенцев, которые выступают в качестве иллюстраций к отдельным ее главам. Фотографии и соотносимые с ними пространственные диалоги позволяют нам аргументированно использовать категорию *речевого портрета*. Дорошевич был в первую очередь очеркист, репортер и публицист. Поэтому владение искусством речевого портретирования входило в круг его профессиональных навыков.

«Речевой портрет» как дефиниция активно используется в современной лингвокультурологии и лингвоперсонологии [Иванцева 2008]. Кроме этого понятия, сложился целый ряд терминологических дериватов и смежных определений, акцентирующих разные аспекты в объекте исследования: лингвокультурный типаж [Карасик, Дмитриева 2005; Асадулаева 2011], языковая личность [Караулов 1987], речевой портрет [Крысин 2001; Гордеева 2008], коммуникативный портрет [Иссерс 2000]. Мы используем категорию речевого портрета в лингвокультурологическом аспекте, который в данном случае сужен за счет предмета исследования. *Речевые портреты* — это *индивидуальные речевые манеры, которые являются реализацией единого каторжного дискурса, обусловленного временем, местом и социокультурными факторами*. Для нас речевой портрет являет собой совокупность вербальных и невербальных компонентов (интонации, жестов, мимики, позы и т. д.), сопровождающих речь героя, репрезентирующих менталитет каторжан или связанных с ними лиц.

Конечно, диалоги были воспроизведены Дорошевичем через какой-то промежуток времени по памяти и при этом так или иначе отредактированы. Но и в такой форме прямая речь героев воспринимается как живое свидетельство сахалинцев. Первое требование, которое предъявляется к процедуре речевого портретирования, — опора «на факты, доступные непосредственному наблюдению» [Мокеева 2014: 83]. Дороше-

вичем это условие, безусловно, соблюдено. В работе писателя фактически нет «вторичных» разговоров, то есть передаваемых им со ссылкой на кого-либо. Практически во всех случаях передается то, чему автор был непосредственным свидетелем. С. В. Букчин, авторитетный специалист по творчеству Дорошевича, пишет: «Десятки услышанных исповедей стали основой большей части сахалинских очерков. В них обнажились не только конкретные судьбы, но и тщательно скрывавшиеся темные стороны сахалинской жизни» [Букчин 2010: 267].

Внимания заслуживает *речевой портрет доктора*. Он создается уже на страницах брошюры «Как я попал на Сахалин». Специфика положения доктора на каторге обусловлена его промежуточным положением: как служащий он принадлежит к сфере власти, но по роду своей гуманной профессии должен быть на стороне каторжан. Этим обусловлен и наш интерес к этой фигуре. Всего в книге Дорошевича представлено около десятка докторов и лиц, связанных с ними профессионально.

Каторжный дискурс, являясь разновидностью публицистического, политического, предполагал создание не сложных амбивалентных образов, а типажей, которые создавались разными способами, в том числе и с помощью речевого портрета. Дорошевич ставил себе задачу максимально полного освещения типов людей всех сословий, социальных, профессиональных статусов, населявших Сахалин. На первом месте у него стояли, конечно, непосредственно каторжане.

Доктор относится к отдельной социальной группе интеллигенции. В позапрошлом веке употребительна была и другая характеристика — «университетский человек». Л. П. Крысин отмечал в качестве одной из ярких особенностей речевого поведения интеллигентов, то есть университетских людей, их «умение переключаться в процессе коммуникации с одних разновидностей языка на другие в зависимости от условий общения» [Крысин 2001: 100]. Доктор на каторге показан Дорошевичем в трех основных коммуникативных ситуациях: с арестантами или поселенцами, с представителями тюремной власти и третий вариант — с нарратором. Как правило, для одного образа выбирается только одна какая-то ситуация, которая позволяет с помощью минимума средств создать речевой портрет доктора.

Начнем с брошюры Дорошевича, в которой подробнее, чем в основной книге, описывается путь автора на Сахалин. Будем различать нарратора и автора произведения. Первый включен в описываемый им

мир, тогда как автор занимает позицию вменяемости (по М. М. Бахтину) по отношению к этому миру. Нарратор описывает случай, произошедший на пароходе по дороге на Сахалин, когда старший помощник капитана, службист и педант, посадил одного из каторжан в своеобразный карцер, где тот мог легко умереть. В этих случаях нужно освидетельствование наказуемого пароходным врачом. Образ доктора создается исключительно с помощью речевых средств: «Врач, добродушный хохол, открыл маяк (условное название карцера. — А. К.):

— Чи може ви больны?

— Нет, я здоров.

Доктор вернулся.

— Вин говорит, що здоров» [Дорошевич 1903: 11].

Дорошевич создает, если прибегнуть к термину М. В. Панова, «фонетический портрет» доктора [Панов 1990], акцентируя украинский говор. Показательно отсутствие ремарок, сопровождающих речь героев, что создает эффект фактографической точности ее передачи. Пароходный врач должен присутствовать и в случае смерти каторжника. Параллель с рассказом Чехова «Гусев» (1890) напрашивается здесь сама собой. Если Чехов рассматривает смерть человека, связанного с каторгой, в онтологическом аспекте, как нечто, противоречащее основам бытия человека, то Дорошевичу важно показать порядки, прямо или косвенно устанавливаемые государством, когда не рекомендуется предавать гласности неудобные факты:

«Как-то доктор за обедом проговорился:

— Иду в лазарет. Тяжелобольной. С мынуты на мынуту ждем: помре.

Старший помощник кинул на него такой взгляд, что болтливый доктор сразу осекся и добавил:

— А може и выздоровие!

И сколько я потом ни приставал к доктору:

— Ну что ваш тяжелобольной?

— Выздоровел. Та ей же Богу выздоровел. У трюме уж. Из лазарета выписался!

И когда я стыдил:

— Врёте вы, доктор! Ну, зачем же вы-то врёте?

Он сердился:

— Ну шо вы ко мне пристаєте? Обратитесь к старшему помощнику! Хиба ж я знаю?

Когда больной умер, даже прислуге было запрещено говорить мне. Я узнал об этом украдкой» [Дорошевич 1903: 13].

Политический дискурс в его каторжном изводе, безусловно, доминирует на страницах брошюры. Нарратор предстает в облике свидетеля и народного заступника, который говорит от имени молчаливой массы. Он

вспоминает свое постоянное чувство дискомфорта на пароходе по дороге на Сахалин, которое выливается у него в филиппику: «Почему одни только чиновники имеют право заботиться о нас? Почему, если частный и честный человек, журналист, хочет оказать услугу обществу, услугу правосудию, сказавши: „вот что такое каторга, к которой вы приговариваете“, — помочь положению несчастных и страдающих людей, — на него смотрят как на какого-то преступника?» [Дорошевич 1903: 17—18].

По прибытии на Сахалин в Корсаковский (ныне Корсаков) нарратор отмечает среди тюремных служителей, напоминающих ему персонажей Гоголя и Щедрина, единственного интеллигентного человека: «...молодой доктор — чрезвычайно милый, славный и хороший, — увидав литератора, сейчас же счел долгом подлететь ко мне». Доктор невольно заводит разговор о легитимности пребывания нарратора-литератора на острове, что для того весьма опасно, так как он приехал, не имея с собой никаких разрешительных документов: «На мое несчастье, он даже не пил и другой улады, кроме разговора со мной, для него не было». Доктор — тип идеалиста. Еще Чеховым была установлена условная каноническая связь высоты голоса и типа личности. Идеалистам, согласно Чехову, «положено» иметь высокий голос. Дорошевич вольно или невольно следует за этим канонами. Описываемый им молодой доктор говорит «высоким тенорком». В конце концов он вызывает острое неприятие у нарратора, так что тот в отместку в брошюре окарикатурил его:

«...доктор с очками, которые от нетерпения не сидели на носу <...> с писком кричал:

— Позвольте, господа! Минуту молчания! Тут в высшей степени важный в принципиальном отношении вопрос об отношении в Петербурге к гласности...

— Да бросьте! Дайте водку пить! — грубо прервал его смотритель тюрьмы.

— И я с вами с удовольствием!

Я принялся пить водку с моим спасителем» [Дорошевич 1903: 60].

Доктор вызывает неприятие не только у нарратора, но и — по другим причинам — у сослуживцев. Так, тюремный смотритель «ненавидел молодого просвещенного доктора <...> всеми силами своей души.

— Гуманности разводит! Гуманности! — орал он в нетрезвом виде, колотя кулаком по столу, как по доктору. — Вот где он у меня сидит! Каторге потакать! Мой первый противник! Я — „выдрать“, а он свидетельство: „нельзя, болен“». К сожалению, в итоговую книгу Дорошевича «Сахалин» эти колорит-

ные сценки не вошли. В книге автор выдерживает другой тон, гораздо более сдержанный, лишенный юмористической окраски.

В предисловной книге выделена отдельная глава «Лазарет», которая затем вошла в основной текст. Начинает нарратор описание лечебного заведения с тезиса: «Я знаю все сахалинские тюрьмы. Но самая мрачная из них — Корсаковский лазарет». Далее следуют мрачные картины больных, затмевающие своим колоритом «Палату № 6» Чехова. И тот же доктор, который был изображен иронически в брошюре, получает совсем иную характеристику и идентифицирующую его фамилию — «молодой, симпатичный лазаретный врач г. Кириллов».

В традициях очерковой прозы давать характеристику описываемого публицистом места. Следует этому правилу и Дорошевич: «В лазарете тесно, в лазарете душно. За неимением места в палатах, больные лежат в коридорах. „Приемный покой“ для амбулаторных больных импровизируется каждое утро. В коридоре, около входной двери, ставится ширма, чтобы защитить раздвигающихся больных от холода и любопытства беспрестанно входящих и выходящих людей. — Вообразите себе, как это удобно зимой, в мороз, смотреть больных около входной двери, — говорит доктор».

То, что у того же Чехова сыграло бы роль вывода, дается Дорошевичем как исходный тезис. Он уподобляет увиденное в лазарете образам Данте: «Что за картины, картины отчаянья, иллюстрации к Дантовскому чистилищу».

Одна из картин — умирающий от чахотки больной и реакция на него доктора: «Несчастный <...> что-то шепчет при нашем проходе. — Что ты, милый? — нагибается к нему доктор. — Поскорей бы! Поскорей бы уж, говорю! Дали бы мне чего, чтобы поскорее! — едва можно разобрать в лепете этого задыхающегося человека. — Ничего! Что ты! Поправишься! — *пробует утешить его доктор*» [Дорошевич 1907: 22].

Конечно, иронизировать над таким доктором весьма трудно, а изобразить его амбивалентно, как мог бы сделать Чехов, Дорошевич не может. Данный фрагмент позволяет сделать один из важных выводов создания речевого портрета: все они строятся на основе синекдохи, то есть изображения части вместо целого. Утешительная интонация доктора вместе с жестом («нагибается» к умирающему) становятся тем необходимым и достаточным материалом, чтобы читатель мог воссоздать его образ.

Врач, занимая промежуточное положение между каторжанами и администрацией,

может быть как на стороне первых, так и вторых. В отличие от судебного доктора украинца, упомянутый выше доктор Кириллов пытается поддержать каторжан: «Демидов, клептоман, один из несчастнейших людей на каторге. Его били смертным боем товарищи и секло начальство. А он все продолжал оставаться „неисправимым“. Ему еще недавно дали 52 лозы, как вдруг, к общему изумлению, доктор Кириллов взял этого „неисправимого негодяя“ в лазарет. — Ах, вон оно что! — ахнули все. — Он сумасшедший! А мы-то его исправляли. <...> В одну из минут просветления, когда к нему ненадолго вернулась способность речи, — он рассказал доктору свою историю» [Дорошевич 1907: 25–26]. Таким образом, доктор на каторге выполняет не только свои профессиональные функции, но ещё в отдельных случаях является кем-то вроде исповедника для сахалинцев.

В качестве итога нарратор говорит о докторе Кириллове: «Я не думаю, чтобы доктора Кириллова надолго хватило на борьбу с разными сахалинскими, истинно „каторжными“ условиями. Такие люди, люди знания, люди дела, люди просвещенные, люди гуманные, люди честные, с чуткой, доброй, отзывчивой душой, — такие-то люди и нужны Сахалину».

С позиции современного литературоведения, книгу Дорошевича «Сахалин» можно сблизить с «массовой литературой». Одна из особенностей ее в том, что она работает на контрастах, или бинарных оппозициях. Так, образу гуманного доктора Кириллова противопоставлен доктор Сурминский, «не любимый каторгой за его черствость, сухость, недружелюбное отношение к арестантам». Синекдохический речевой портрет этого доктора укладывается в одну фразу: «Пошел прочь! — шипит доктор» [Дорошевич 1907: 75].

Другой максимально лапидарный речевой портрет доктора, однозначно занимавшего сторону администрации каторги, дан в его «рецепте». Это, конечно, письменный текст, но его легко представить и в устном варианте: «На Сахалине некто Капитон Зверев зарезал доктора Заржевского. Это был доктор старого закала, каких очень любили гг. смотрители. Для него не было больных и слабосильных. Когда являлись на освидетельствование, он обыкновенно писал: „Дать 50 розог“» [Дорошевич 1907: 235].

Дорошевич на примере докторов показывает один из феноменов каторги, который позже отразят в своих произведениях Солженицын и Шаламов. Имеется в виду негативное влияние условий несвободы и насилия как для сосланных, так и для тех, кто по долгу службы выполняет надзор за ними. Примером для автора книги «Сахалин» является

молодой «доктор Давыдов, издавший брошюру „О притворных заболеваниях и других способах уклонения от работ среди ссыльно-каторжных Александровской тюрьмы“». Автор брошюры с псевдонаучным названием и прямо проявляет свою жестокость, которую не считает нужным скрывать. Нарратор свидетельствует: «Этот доктор, по его собственному признанию, подвергавший пыткам больных, — типичное указание, как „осахалинивает“ Сахалин даже образованных и, казалось бы, развитых людей» [Дорошевич 1907: 207].

Через полсотни страниц в книге возникает следующий речевой портрет доктора, который пытается спасти от наказания восьмидесятью плетями каторжника, который в силу каких-то причин не понимает того, что ему грозит. Этот портрет строится на противопоставлении предыдущему. Восемьдесят плетей фактически эквивалентны смертельному приговору. Далее диалог доктора с каторжником, которого привели на освидетельствование:

«— Ты здоров?

— Так точно, совсем здоров, ваше высокоблагородие.

— Гм... Может, у тебя сердце болит?

— Никак нет, выше высокоблагородие, николи не болит.

— Да ты знаешь, где у тебя сердце? Ты! В этом боку никогда не болит? Ну, может, иногда — понимаешь, иногда покалывает?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, николи не покалывает.

Доктор даже свой молоточек со злостью бросил на стол.

— Смотри на меня! Кашель хоть у тебя иногда бывает? Кашель?

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Кашля у меня никогда не бывает.

Доктор взбешен. Доктор чуть не скрежещет зубами. Он смотрит на арестанта полными ненависти глазами. Ясно говорит взглядом: „Да хоть соври ты, соври что-нибудь, анафема!“

Но арестант ничего не понимает.

— Голова у тебя иногда болит? — почти уже шипит доктор.

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

Доктор садится и пишет: „Порок сердца“. Даже перо ломает со злости.

Смотритель заглядывает в акт освидетельствования.

— От телесного наказания освобожден. Ступай!» [Дорошевич 1907: 252–253].

Такого рода развернутых диалогов докторов с больными не так много в книге Дорошевича, поэтому стоит на нем остановиться. Если говорить о речевом портрете, то он создается с помощью инвертирован-

ных средств. Как и доктор Сурминский, молодой доктор тоже *шипит*. Другие проявления негативного эмоционального настроения тоже очевидны (*молоточек со злостью бросил, взбешен, скрежещет зубами*), но за этим негативизмом стоит стремление помочь каторжанину избежать фактически смертной казни. То особое промежуточное положение докторов между администрацией и ссыльнокаторжными здесь особенно очевидно. И особый драматизм заключается в том, что добро, которое пытаются сделать доктора, остается безответным, не поддерживаемым теми, кому стараются помочь.

Уровень понимания, вернее глобального непонимания, ссыльнокаторжными функции и смысла ссылки, каторги и государства в целом отражает один яркий фрагмент книги, который не имеет прямого отношения к образу доктора, но который помогает понять, что же объединяет большинство каторжан. Нарратор описывает интеллигента, который пишет прошение за неграмотного поселенца, отбывшего срок и оставленного на острове: «...прошу выдать для нужды домообзаводства из казны корову и бабу. А! Корову и бабу. Бабу и корову» [Дорошевич 1907: 140]. В одном отрывке соединены воедино три голоса: неграмотного поселенца, пишущего за него грамотного товарища и комментирующего чужую речь нарратора. Отметим в этом кажущемся анекдотическим фрагменте одну ментальную особенность россиян, донине до конца не изжитую, — патерналистское восприятие власти. По представлению каторжанина, в казне всё есть: и коровы, и бабы, и ему просто обязаны предоставить то и другое как нечто необходимое для нормальной жизни. Думается, что такое миропонимание как раз и является одним из важных источников противоправного поведения людей, заканчивающегося впоследствии судом и каторгой.

Описывая самые темные и страшные стороны сахалинской каторги, Дорошевич все-таки не приходит к безнадежным выводам. Он старается разглядеть и в преступниках людей, у которых не задавлены до конца человеческие проявления, которые в массе своей могут правильно оценить личность. Идеальным образцом интеллигента для Дорошевича да и для обитателей острова был доктор Николай Степанович Лобас. Можно сказать, он являл собой сахалинский вариант знаменитого тюремного врача Фёдора Петровича Гааза (1780—1853). А. Ф. Кони в мемуарах называет Гааза «утрированным филантропом», который посвятил свою жизнь помощи ссыльным: «Жизнь его представляет поучительный пример того, сколько

упорства, трогательного самозабвения, душевной теплоты и неустанной энергии требовалось, чтобы часто не опускать рук в сознании своего бессилия перед официальным тупосердием и бездушными утверждениями, что все обстоит благополучно. Но такие, как Гааз, были наперечет» [Кони 1925: 200].

Каторжане — люди с искаженной системой ценностей, воры, убийцы, насильники. Однако, вопреки всему, и в таких людях живет человеческое начало. Авторитет доктора Лобаса среди каторжан и поселенцев настолько высок и безупречен, что жители острова создают неологизм «лобасистый» для оценки и характеристики других людей. Доктор для них — мера порядочности и человечности. Дорошевич приводит два факта отношения к Лобасу. У доктора был четырехлетний сын Павлик. Когда он с нянькой проходил по улице, даже самые матёрые взрослые каторжники вставали и снимали шапки в знак уважения к его отцу. И еще одно свидетельство: «Когда прошел слух, что Лобас уходит, — каторга сложилась по копейке, чтоб поставить памятник на могиле его ребенка, умершего на Сахалине» [Дорошевич 1903: 109]. При той вопиющей нищете, которая царил на острове, отдать копейку на благое общее дело — почти невыносимая щедрость для каторжан и поселенцев.

Дорошевич сам формулирует вывод, касающийся фигуры доктора: «Многим русская каторга обязана докторам. Смело можно сказать — всем, что в ней только было когда-нибудь еле-еле, чуть-чуть светлого». Речевые портреты докторов — яркий документ эпохи, позволяющий воссоздать образ одной социально-профессиональной группы и шире — русского интеллигента со всеми его достоинствами и недостатками.

Подсказку для адекватной общей оценки книги «Сахалин» дает один из интеллигентов, бывший студент Московского университета, сосланный на остров. Это некто Сокольский, он передал Дорошевичу начатую рукопись «Записки с мертвого острова». Очевидно, что каторжанин знал «Записки из мертвого дома» Достоевского, и его книга как-то перекликается с произведением великого писателя. Сокольский говорит: «Самому не удалось (дописать свою книгу. — А. К.), помогу вам в важном деле *бытописателя каторги*». В этой фразе, думается, проскользнула самая точная характеристика труда Дорошевича и его самого: он выступает как бытописатель сахалинской каторги начала XX в. И значимой стороной этого описания является многоголосый хор сахалинцев, в котором звучат и голоса докторов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Авилова, Н. С. Речевые портреты в пьесе Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» / Н. С. Авилова. — Текст : непосредственный // Русская речь. — 2000. — № 3. — С. 14—19.
2. Асадуллаева, А. В. Исторический криминальный лингвокультурный типаж «английский пират»: дис. ... канд. филол. наук / Асадуллаева А. В. — Волгоград, 2011. — 170 с. — Текст : непосредственный.
3. Букчин, С. В. Судьба фельетониста / С. В. Букчин. — Москва : Аграф, 2010. — 703 с. — Текст : непосредственный.
4. Гордеева, М. Н. Речевой портрет и способы его описания / М. Н. Гордеева. — Текст : непосредственный // Лингвостилистические и лингводидактические проблемы коммуникации. — Москва, 2008. — № 6. — С. 89—101.
5. Дорошевич, В. М. Как я попал на Сахалин / В. М. Дорошевич. — Москва : Изд-во И. Д. Сытина, 1903. — 163 с. — Текст : непосредственный.
6. Дорошевич, В. М. Сахалин. Каторга / В. М. Дорошевич. — Москва : Тип. изд-ва И. Д. Сытина, 1907. — Т. 1. — 415 с. — Текст : непосредственный.
7. Иванцева, И. В. Проблемы формирования методологических основ лингвоперсоналогии / И. В. Иванцева. — Текст : непосредственный // Вестник Томского государственного университета. Сер.: Филология. — 2008. — № 3 (4). — С. 27—43.
8. Иссерс, О. С. Коммуникативный портрет языковой личности (на примере писем Сергея Довлатова) / О. С. Иссерс. — Текст : непосредственный // Русистика сегодня. — 2000. — № 1—4. — С. 63—75.
9. Канчер, М. А. О трех аспектах описания языковой личности / М. А. Канчер. — Текст : непосредственный // Культурно-речевая ситуация в современной России. — Екатеринбург : [б. и.], 2000. — С. 311—318.
10. Карасик, В. И. Лингвокультурный типаж: к определению понятия / В. И. Карасик, О. А. Дмитриева. — Текст : непосредственный // Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажы : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Карасика. — Волгоград : Парадигма, 2005. — С. 5—25.
11. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. — Москва : Наука, 1987. — 356 с. — Текст : непосредственный.
12. Кони, А. Ф. А. П. Чехов. Отрывочные воспоминания / А. Ф. Кони. — Текст : непосредственный // А. П. Чехов. Затерянные рассказы и статьи Чехова. Драматические искания Чехова. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. — Ленинград : Атеней, 1925. — С. 199—216.
13. Крысин, Л. П. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета / Л. П. Крысин. — Текст : непосредственный // Русский язык в научном освещении. — 2001. — № 1. — С. 90—106.
14. Литературный путеводитель, или Сахалинскими дорогами Чехова и не только... / сост.: Е. А. Иконникова, А. А. Степаненко. — Москва : Перо, 2016. — 96 с. — Текст : непосредственный.
15. Ляпон, М. В. Языковая личность: поиск доминанты / М. В. Ляпон. — Текст : непосредственный // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность : сб. статей / Институт русского языка РАН. — Москва : [б. и.], 1995. — С. 260—276.
16. Макеева, С. О. Речевой портрет в круге смежных понятий / С. О. Макеева. — Текст : непосредственный // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики : материалы и тезисы докладов ежегодной международной конференции, 7 февраля 2014 г., Екатеринбург / Урал. гос. пед. ун-т ; под ред. Н. Н. Сергеевой ; науч. ред. Е. Е. Горшкова. — Екатеринбург : [б. и.], 2014. — Ч. 3. — С. 79—85.
17. Панов, М. В. История русского литературного произношения XVIII—XX вв. / М. В. Панов ; отв. ред. Д. Н. Шмелев. — Москва : Наука, 1990. — 453 с. — Текст : непосредственный.

REFERENCES

1. Avilova, N. S. (2000). Rechevy portrety v p'ese L.N. Tolstogo «Plody prosveshcheniya» [Speech portraits in L.N. Tolstoy "The Fruits of Enlightenment"]. *Russkaya rech'* [Russian speech], 3, 14—19. (In Russ.)
2. Asadullaeva, A. V. (2011). *Istoricheskiy kriminal'nyy lingvokul'turnyy tipazh «angliyskiy pirat»* [Historical criminal

linguocultural type "English pirate"] [dis. ... of cand. of Philol. Sciences]. Volgograd, 170 p. (In Russ.)

3. Bukchin, S. V. (2010). *Sud'ba fel'etonista* [The fate of the feuilletonist]. Moscow: Agraf, 703 p. (In Russ.)
4. Gordeeva, M. N. (2008). Rechevoy portret i sposoby ego opisaniya [Speech portrait and methods of its description]. *Lingvostilisticheskie i lingvodidakticheskie problemy kommunikatsii* [Linguistic and stylistic and linguodidactic problems of communication], 6, 89—101. (In Russ.)
5. Doroshevich, V. M. (1903). *Kak ya popal na Sakhalin* [How I got to Sakhalin]. Moscow: I. D. Sytin Publishing House, 163 p. (In Russ.)
6. Doroshevich, V. M. (1907). *Sakhalin. Katorga* [Sakhalin. Hard labor] (Vol. 1). Moscow: Publishing house of I. D. Sytin, 415 p. (In Russ.)
7. Ivantseva, I. V. (2008). Problemy formirovaniya metodologicheskikh osnov lingvopersonologii [Problems of formation of the methodological foundations of linguopersonology]. *Vestnik TomGU. Ser.: Filologiya* [Bulletin of the Tomsk State University. Ser.: Philology], 3(4), 27—43. (In Russ.)
8. Issers, O. S. (2000). Kommunikativnyy portret yazykovoy lichnosti (na primere pisem Sergeya Dovatova) [A communicative portrait of a linguistic personality (on the example of Sergei Dovatov's letters)]. *Rusistika segodnya* [Russian Studies Today], 1—4, 63—75. (In Russ.)
9. Kancher, M. A. (2000). O trekh aspektakh opisaniya yazykovoy lichnosti [On three aspects of the description of a linguistic personality]. In *Kul'turno-rechevaya situatsiya v sovremennoy Rossii* [Cultural and speech situation in modern Russia] (pp. 311—318). Yekaterinburg. (In Russ.)
10. Karasik, V. I., & Dmitrieva, O. A. (2005). Lingvokul'turnyy tipazh: k opredeleniyu ponyatiya [Linguistic and cultural type: to the definition of the concept]. In V. I. Karasik (Ed.), *Aksiologicheskaya lingvistika: lingvokul'turnyye tipazhi* [Axiological linguistics: linguocultural types] (Collection of scientific works, pp. 5—25). Volgograd: Paradigm. (In Russ.)
11. Karaulov, Yu. N. (1987). *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and linguistic personality]. Moscow: Nauka, 356 p. (In Russ.)
12. Koni, A. F. (1925). A. P. Chekhov. Otryvochnyye vospominaniya [A. P. Chekhov. Fragmentary memories]. In A. P. Chekhov. *Zateryannyye rasskazy i stat'i Chekhova. Dramaticheskoye iskaniya Chekhova. Neizdannyye pis'ma. Vospominaniya. Bibliografiya* [A. P. Chekhov. Lost stories and articles of Chekhov. Dramatic searches of Chekhov. Unpublished letters. Memories. Bibliography] (pp. 199—216). Leningrad: Atenei Publishing House. (In Russ.)
13. Krysin, L. P. (2001). Sovremennyy russkiy intelligent: popytka rechevogo portreta [Modern Russian intellectual: an attempt at a speech portrait]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii* [Russian language in scientific coverage], 1, 90—106. (In Russ.)
14. Ikonnikova, E. A., & Stepanenko, A. A. (Comp.). (2016). *Literaturnyy putevoditel', ili sakhalinskimi dorogami Chekhova i ne tol'ko...* [Literary guide, or Chekhov's Sakhalin roads and not only...]. Moscow: Pero, 96 p. (In Russ.)
15. Lyapon, M. V. (1995). Yazykovaya lichnost': poisk dominanty [Linguistic personality: the search for a dominant]. In *Yazyk — sistema. Yazyk — tekst. Yazyk — sposobnost'* [Language — system. Language is text. Language is an ability] (collected articles, pp. 260—276). Moscow: Institut russkogo yazyka RAN. (In Russ.)
16. Makeeva, S. O. (2014). Rechevoy portret v krugy smezhnykh ponyatiy [Speech portrait in the circle of related concepts]. In N. N. Sergeeva (Ed.), *Aktual'nyye problemy germanistiki, romanistiki i rusistiki* [Actual problems of Germanic, Romanistic and Russian studies] (Materials and abstracts of reports of the annual international conference, February 7, 2014, Yekaterinburg, Part 3, pp. 79—85). (In Russ.)
17. Panov, M. V. (1990). *Istoriya russkogo literaturnogo proiznosheniya XVIII—XX vv.* [The history of Russian literary pronunciation of the XVIII—XX centuries] (Resp. ed. D. N. Shmelev). Moscow: Nauka, 453 p. (In Russ.)